



ИВАН ВОЛЬНОВ

 ИЗБРАННОЕ 

*Повесть
о днях
моей жизни*

*Повести,
рассказы,
очерки*

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Предисловие
М. ГОРЬКОГО

Составление, подготовка текста и примечания
М. МИНОКИНА



ИВАН ВОЛЬНОВ¹

Иван Егорович Владимиров — Иван Вольнов, крестьянин, сельский учитель — появился на острове Капри в 1909 или в 1910 году. До этого он жил где-то около Генуи, кажется в Кави-ди-Лаванья, а туда приехал из сибирской ссылки. Сослан был как член партии социалистов-революционеров, организатор аграрного движения в Малоархангельском уезде Орловской губернии, — до ссылки сидел несколько месяцев в прославленном садической жестокостью орловском «центrale», каторжной тюрьме. Там тюремные надзиратели несколько раз избивали его, а однажды, избив до потери сознания и бросив в карцер, облили соленой водой; раствор этот разъел ссадины и раны, оставив на коже глубокие рубцы.

В ссылке, в глухой сибирской деревне, он работал батраком у зажиточных крестьян, заслужил их симпатии, и они, по собственному почину, организовали ему побег. Для тех времен это не было исключительным случаем, и говорит это не о великодушии мужиков, а только о том, что

¹ Настоящий очерк написан М. Горьким как предисловие к второму изданию собрания сочинений Ивана Вольнова, предпринятому ГИХЛом в 1931 году.

Созданный в жанре литературного портрета, очерк, естественно, не содержит подробных биографических сведений о Вольнове, исчерпывающего критического анализа всех его произведений.

Останавливаясь лишь на важнейших этапах биографии и литературной деятельности Вольнова, Горький создает живой, осязаемый образ талантливого и своеобразного художника, своим, очень нелегким путем пришедшего к пониманию правды социалистического общества. (Прим. ред.)

они понимали: есть люди, которые делают революцию в интересах крестьянства. Сам Иван рассказывал о побеге приблизительно так:

— Мужики там были — хорошие, грамотные, я довольно плотно укрепился в их жизнь, работал, пропагандировал и о побеге — не думал. Но как-то ночью приходят двое и — обрадовали: «Приехал урядник с бумагой, говорит, что тебя требуют назад, в Россию, там еще что-то открылось за тобой, и тебе, за грехи, добавить надобно. А мы тебя считаем человеком хорошим, так ты беги! Урядника напоили, спит, проснется — еще напоим. Про тебя ему сказано, что ты на охоту вчера ушел. Лошадь — запряжена, вот он отвезет тебя; доедешь до своих». Я сообразил, что начальство зря в Москву не потребует, а если потребовало — значит, или каторгой угостит, или повесит. Вешалка мне грозила; я был организатором боевой дружины, участвовал в эксах; получая на юге литературу из Греции, был выслежен шпионами, пришлось стрелять, одного, кажется, ухлопал. Вообще — повесить меня было за что, ну и — кроме того — шея есть. Расцеловался я с приятелями и — айда! Тихонько, черепахой прополз по России; потолкался кое-где за границей, вот — метнуло сюда».

Его спросили, как понравилась Европа. Он отвечал осторожно: «А не знаю еще! Пестро очень в глазах и толпеж в голове. Ну, конечно, сразу видишь: здесь настроено, накоплено больше, чем у нас. Землю холят — замечательно!»

В то время ему было, вероятно, лет 25—27; крепкий такой был он, двигался осторожно, тяжеловато, как человек, который еще не совсем овладел своей силой и она его несколько стесняет. Над его невысоким, но широким лбом — плотная шапка темных, туго спутанных волос, на круглом, безбородом лице — карие глаза с золотистой искрой в зрачках, взгляд — пристальный, требовательный и недоверчивый. Маленькие темные усы, губы очень яркие и пухлые; физиономисты говорят, что такие губы — признак повышенной чувственности.

Нерешительную улыбку этих очень юношеских губ сопровождал невеселый блеск глаз, затененных густыми ресницами, и на краткий момент круглое, грубоватое лицо Вольнова казалось необычным, даже — загадочным. Говорил он вдумчиво и скупое, немножко ворчливо и по складу речи, по манере ее часто казался старше своего возраста,

а вообще же от его речей веяло свежестью чувства, прямодушием, простотой. И чувствовалось, что, относясь к людям не очень доверчиво, он и к себе самому относится так же, в нем как бы что-то надломлено, скрипит, и, говоря, он всегда прислушивается к этому скрипу.

В первые недели его жизни на Капри сложность и неопределенность психики Вольнова вызвали в русской колонии острова весьма острое, но не очень дружелюбное внимание к нему. В то время на Капри жила небольшая группа литераторов: Николай Олигер, Алексей Золотарев, Борис Тимофеев, очень талантливый юноша, изуродованный ревматизмом, который потом и убил его, жил стихотворец с четырехэтажной фамилией Любич-Ярмонович-Лозина-Лозинский, человек нервно раздерганный и одержимый стремлением всячески подчеркнуть себя; он задорно подчеркивал свое дворянское происхождение, вражду к революции, к реализму в литературе и был похож на музыканта, которого заставили играть на инструменте, неприятном ему. Стихи свои он подписывал псевдонимом Любяр, читал их с пафосом, но в то же время с иронической улыбкой и любил говорить: «Жизнь — дурная привычка». Говорил — и много — о Шопенгауэре, о Генрике Ибсене, причем казалось, что он раздувает угли, покрытые пеплом и золой. Молодежь слушала его весьма охотно и почти никогда не спорила против его поношенных парадоксов. В конце концов казалось, что он говорит не от себя, а по внушению извне.

Почти ежегодно приезжал Иван Бунин; мелькали Новиков-Прибой, Саша Черный, Илья Сургучев и еще многие. Собралось человек десять живописцев. Все это была молодежь говорливая, не очень стеснявшаяся в формах выражения своих ощущений и настроений, склонная «углублять психологию», разрешать «трагическую загадку бытия» и «проблему личности». Все были молоды, жили весело; все были очень бедны, но жизнь тогда была дешевой, и кисленькое каприйское вино тоже дешево.

Ивана «загадка бытия», должно быть, не интересовала, так же как и «проблема личности в ее отношении к обществу». Он внимательно слушал все, что говорили, но был не очень словоохотлив. По скупым его рассказам было ясно, что он — человек весьма наблюдательный, способный включать пережитое в твердую и точную форму. Как уроженец области коренных «великороссов», он отлично

владел афоризмом. Иногда в его речах звучали слова из лексикона его земляка Н. С. Лескова: толпеж, галдеж, угнездился, блезир, скудость, мниться — и много других. Но — спрошенный, любит ли он Лескова, — Вольнов ответил:

— Рассказа два-три читал. «Леди Макбет» — очень хорошо, а другие — не помню. Да и — не понравилось, хитрит он и сочиняет на смех кому-то.

Подумав, он добавил:

— Может быть — себе самому. Есть такие, что утешаются смехом над своим и чужим горем.

Вольнов сторонился людей, смотрел на них искоса, исподлобья, веселью не верил и как-то, после пирушки в маленьком кабачке, идя домой, сказал, вздохнув:

— Все какие-то мореные, без вина — не веселятся, хороших песен — не знают. Про революцию говорят, как пасынки про мачеху.

Это было сказано и верно и неверно: веселились и трезвые, потому что веселила молодость, красота моря, буйная сила плодородной земли. О революции вспоминали действительно не очень охотно, но среди этих людей активных революционеров почти не было. Жили интересами искусств и прежде всего литературы: все пробовали писать, читали друг другу рукописи, критиковали, спорили. Иван слушал споры молча, но всегда с таким напряжением, что круглое лицо его каменело, глаза, округляясь, выкатывались, в зрачках разгорался сердитый рыжий огонек; иногда он тихонько фыркал носом и, взмахивая рукою, точно муху отгонял от лица. Часто он уходил в самом разгаре споров о «смысле бытия». Бывало — спросишь его:

— Вы что всё молчите?

— Я мало читал, не все понимаю, о чем говорят, что пишут, — отвечал он. — Стихоплет этот похож на курицу, которая притворяется петухом. Вообще тут все какие-то блаженные, «иже во святых».

Первое время жизни на Капри природа юга Италии интересовала его больше, чем русская литература, и о природе он говорил с завистью, с удивлением, которое часто казалось очень похожим на возмущение.

— Вот бы сюда согнать орловских, а то — сибирских мужиков, посмотрели бы они на землю, на работу! Глядите, черти, здесь на голые камни земля корзинками натаскана, ее лопатами пашут, а она круглый год апельсины

родит, оливки, бобы. А у вас, там, земля: летом — чугу́нная сковорода, зимой — саван, под ним — одурь, болота, овраги, чёрт его знает что!

И неожиданно он заключал:

— А вы, черти, в бога верите, в какой-то божий разум!

На эту тему он рассуждал часто и так решительно, так озлобленно, что казалось: он сам чувствует бога как силу действительно существующую, но бессмысленную и всегда, во всем враждебную мужику. Рассматривая голубые цветы каменоломки на серых, известковых скалах острова, он с негодованием ворчал:

— Вишь ты, как прет, черт ее дер! Куда ни ткнись,— везде растет что-нибудь! На железе расти может. Молочай кустами вырос, а — зачем он? Как насмешка все это.

И вздыхал, встряхивая кудлатой головою:

— Наши темные черти работать здесь долго не привыкли бы! Передохли бы с натуги. Круглый год работать не под силу им. Привыкли полгода на печи дрыхнуть.

Кажется, раза два он ездил в приморский городок Алляссио за Генуей; там жил Виктор Чернов, человек настолько известный, что вспоминать о нем неприятно.

Ко мне он приходил чаще всего поздно вечером, а то — ночью «на огонек»; придет, сядет и, вздохнув, спросит:

— Не помешаю? Вы — работайте, я посижу молча.

Было ясно, что он тоскует, что ему трудно жить. Минуты через две он рассказывал, зажав руки в коленях, покачиваясь, встряхивая головой так, точно на ней была слишком тяжелая шапка, рассказывал о курных избах орловских деревень, о мужиках, которые уходят в Донбасс, в шахтеры, а возвращаются оттуда, надорвав силы, уже не мужиками, не рабочими.

— Пьяницы, драчуны, жен калечат, ребятишек бьют — беда! Кричат бабам: «Ради вас, сволочей, раньше смерти под землей живем!» Детей в школу не пускают. «Парнишка выучится, на мою же шею сядет учителем!» Это мне в глаза говорили.

Можно было думать, что плодотворные силы южной природы, изошряя его зависть и озлобление, делают Ивана пессимистом, мизантропом, но когда один из молодых литераторов стал назойливо доказывать ему наличие разума в природе, он угрюмо и твердо сказал:

— Ну, это вы — бросьте! Сегодня у вас — разум, а

завтра будет — бог! А в бога верят только человеконена-
вистники, дворяне. Вот — Бунин в бога верит. Это — злая
вера.

Его спросили:

— А вы во что верите?

— Ни во что, — ответил он; затем, потише, добавил: —
В будущее верю. В человеческий разум. Другого — нет.

Рассказывал, как мужики громили усадьбу князя Ку-
ракина.

— Князь — хилый такой старичок, а злой, пес, был. Притащили его к речке и давай окунать в воду, орут: «Чистоту любишь? Мы тебя выстираем, выполощем». В доме, во дворе, ломают всё, как свиньи, в щепки дробят! Я кричу: «Да — сукины дети — зачем? Ведь это все — ваше!» Никакого внимания! Треск, скрип, грохот. Столы, стулья топорами рубят, бабы из-за пледа разодрались, — отняли у них плед и тоже изрубили. Как будто в вещах и скрыто все людское горе. Такое было неистовство, что и страшно и смешно. Старик один — тихий такой старичок был — нашел где-то дворянскую фуражку и, знаете, серьезно так — мочится в нее. Я, увидев это, даже задрожал: от крепостного права сорок лет прошло, а он, видно, вспомнил что-то, старичок! Девушки сняли зеркало со стены, отнесли в пруд и утопили, да — не просто пришли да бросили, а сели в лодку, выехали на середину пруда и там — бросили.

Он засмеялся, и, встряхнув головою, махнув рукой, продолжал:

— Потом оказалось, что и сам я тоже какой-то шка-
фик жиденький ногами растоптал, уж не знаю, чем он по-
мешал мне. Опомнился, когда мне в ухо заорал кто-то:
«Круши, Иван Егоров!» Зараза!

И — снова, помолчав:

— Пьяница один, шахтер, бесшабашный человек, взял
кутенка, сунул за пазуху и пошел прочь. Догнали: «По-
кажи, — что украл? Поддай сюда!» И — кутенком — по-
роже его! В кровь избили. В день погрома — никто не во-
ровал, а потом, ночью, на телегах ездили, осколки и вся-
кую рвань собирать. Воспитана в народе великая злоба.
Это я и на себе испытал, когда меня в орловской тюрьме
били. Хотите — верьте, хотите — нет, а когда били меня,
ногами топтали, разумеется — больно было, но кажется
мне, что я и в тот час думал: «Ладно, учите, годится!»

Он снова негромко и ненадолго засмеялся. Но стоило ему засмеяться, и тогда невольно думалось, что его обычная сумрачность только — личина, а под нею зачем-то прячется жизнерадостный и очень простой, очень милый человек.

Смеялся он не часто, но помногу и — смеялся весь, встряхивая головою, закрыв глаза, притоптывая ногами, хлопая руками по бедрам, по коленям. Его смешила иногда самая простая шутка, неловкое движение, неправильно произнесенное слово, и вообще смех его был не требователен. Очень трудно было объединить этот молодой, даже почти детский смех с тяжелым грузом страшного, что нес в памяти своей этот человек.

Ему советовали:

— Вам бы, Иван Егоров, надобно писать об этом!

— Хочется, да не знаю, как взяться! — сказал он. — Даже — пробовал. Не выходит ничего. Дайте-ко мне книг!

Книг он брал много, больше всего беллетристику; читал придирчиво и очень тонко замечал ошибки авторов в описании быта.

— За плохим охотятся умело, — говорил он, и в этих словах чувствовался оттенок личной обиды.

Большинство людей, с которыми он столкнулся на Капри, знали деревню как дачники, судили о ней под углом испытанных ими бытовых неудобств и эстетических эмоций, которые вызывала в них природа деревни. Мужик, которого они более или менее знали, — это «дачевладелец», хозяин тех изб, в которых они снимали комнаты, к этому мужику они относились в лучшем случае снисходительно. А вообще мужик, в массе его, оценивался по старой народнической литературе, но умилительное их отношение к мужику было уже почти стерто тревожной мыслью Глеба Успенского, мрачными рассказами Бунина и скептицизмом таких рассказов Чехова, как «Мужики», «В овраге», «Новая дача». Все, что говорилось о мужике, можно было свести к такой оценке его: это — ненадежная личность; в 1902 году он начал бунтовать и тотчас же встал на колени перед харьковским губернатором Оболенским; в 1905—1906 годах он разорял культурные «дворянские гнезда», жег библиотеки, отрезал хвосты живым лошадям, а — по Бунину — содрал кожу с живого быка и пустил его бегать по полям. Эта политически ненадежная личность была в то же время страшной личностью. Иван Вольнов довольно

быстро разобрался в смысле неласковых суждений о мужике. Как-то ночью, за бутылкой вина, вцепившись крепкими пальцами в жесткие свои волосы, сердито глядя в стакан, он сказал:

— Осудили деревню без всякого снисхождения. Никаких обстоятельств, смягчающих грехи его, не найдено. Видно, что рады избавиться от обязанности думать о нем и что можно перенести свои симпатии на рабочего. А симпатии-то плутонические.

— Платонические?

— Знакомый мой, студент-филолог, Платона — Плутонем называл и всех философов — плутонами, а философию — плутней.

Чем больше он читал и слушал о деревне, о мужике, тем более ясно звучало в его речах чувство личной боли и обиды.

— Чтобы знать деревню, надобно родиться в ней, надобно — вместо материна молока жеваный хлебный мякиш из грязной тряпочки сосать, надобно в шесть лет от роду видеть, как мужик топчет ногами жену, а после того сидит в огороде над лужей, плачет, сморкается в нее и орет, на смех соседям: «Иди, так твою и эдак, бей меня, я тебя бил, валяй ты меня!» А в небе жаворонки поют, так что и эстетике место оставлено. А то: муж да жена поставили гроб со своим трехлетним дитем на церковной паперти и сидят, ждут, когда поп церковь отопрет. Март месяц, сиверко дует, снег идет, на улице не то что собаки — воробья нет. Денег у них — шесть гривен без семишника, а поп требует рубль. И во всем селе ни единого сукина сына, кто бы сорок две копейки дал! А не дают, потому что в копейках этих нуждаются «умники», отец ребенка — «забастовщик», мать — с кулаками не в ладах, грамотница, умная. Или: описывают имущество за недоимки, баба просит: «Позвольте в останний раз самовар согреть!» Разрешили: «Грей, и мы чаю попьем». Она вынесла самовар в сени, да обухом топора и порушила его, в комок смяла! Урядник командует мужу: «Дай ей трепку, курве!» Муж — дал. Он бьет, а его натравливают: «Так ее!»

Иван был способен часами рассказывать о таких «картинках быта», и слушателю казалось, что этот орловский мужик торопится рассказать о своей жизни все ужасное и горестное для того, чтоб другим, чужим, ничего не осталось, для того, чтоб перегнуть их в изображении страшной

жизни деревни, перегнуть и лишить их права говорить и писать о том, что он знает лучше их.

— Вам надо писать, Иван Егорович!

— Да, надо бы! Только тут встречается вопрос: как быть с правдой? Всю ее как будто стыдно писать, выходит сплошь вопль и жалоба, а — кому жаловаться? Ведь — некому! И — на донос похоже: вот, дескать, какие звери живут на земле! Ну, а если — звери, стало быть — ничего, дави их, это — не грех! Дави...

Вопрос об отношении к правде очень тревожил его и долго мешал ему взяться за работу литератора.

— С правдой я не в ладах, — говорил он, натужно усмехаясь и встряхивая тяжелой головой. И повторил: — Стыдно писать про нее, и никак не могу понять чего-то... Ненавижу я ее, как Клещ в «На дне», а иной раз люблюсь ею, — кажется, что в ужасе ее скрыта какая-то умная сила.

— Этого я у вас — не понимаю.

— Да я и сам не понимаю, — угрюмо сказал он и, помолчав, заговорил снова: — Вот — Бунин, ему — легко, не о своих пишет. Он вышивает золотом по черному, ну и — себе приятно и людям удовольствие. И — поучительно: читают люди — думают: «Вот какие черти-звери в Орловской губернии живут! Стоит ли о таких чертях заботиться?» — Иван Бунин был автором, который наиболее увлекал и волновал Вольнова.

— Золотое перо, — говорил он, вздыхая, и, смущаясь тем, что похвалил врага, он добавлял:

— А видно, что лаптей — не носил, сена — не косил, земли — не пахал, шапкой пахарю махал.

И — снова хвалил:

— Замечательный писатель! Вот бы эдак-то научиться! — вздыхал он и, закрыв глаза, встряхивая шапкой спутанных волос, читал на память, точно стихи:

— «О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этой мертвой деревне, молча стоявшей на краю ее, в этих бледных равнинах за нею, в этих жнивьях и копнах на их просторе, в этот синий степной вечер, молчаливый, как могила!»

Особенно понравилась, но и наиболее возмутила его «Деревня» Бунина.

— В печенки въелась, — сознался он, усмехаясь. — Написал «Суходол», пропел панихиду дворянству, опом-

нился — «Деревню» написал. Вышло так: мы, дворяне, плохи, ну, а вы — еще хуже. Отомстил нашим за своих.

Он читал на память почти целые страницы, читал всегда вполголоса и медленно, прислушиваясь к суховатому и строгому звучанию слов бунинской речи. Прочитает и, помолчав, скажет:

— Просто как! А за сердце берет...

Особенно восхищался он рассказом «Захар Воробьев».

— Это — на сто лет! — говорил он. — Революцию сделаем, республика будет, а рассказ этот не выдохнется, в школах будут читать, чтоб дети знали, до чего просто при царях хорошие мужики погибали.

Лично Бунина он не любил. Он, даже и захмелев, относился к людям сдержанно, высказывая свои антипатии и симпатии очень редко, скупно, в двух-трех осторожных словах. Я не помню, чтоб он о Бунине как о человеке говорил худо или хорошо. Он просто замалчивал существование Бунина как человека и даже как будто прятался от него. Только однажды, после какой-то встречи и беседы с Буниным, сказал:

— Он, конечно, считает мужиков неизлечимыми уродами. Мы для него — Азия, на четвереньках живем. Попробовал бы, помог мужику встать на задние ноги! А он, вместо того, о прошлом дворянстве скучает.

И, взяв с полки «Суходол», он прочитал:

— «Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники: предки наши были стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И, называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя или было убито, спилось, опустилось и просто потерялось где-то — бесцельно и бесплодно! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад».

— Слышите? А как раз полвека-то назад — крепостное право было. «Суходол» у него вроде юбилейного плача.

Иван так и оставил за этой книгой подзаголовок «юбилейный вопль», «юбилейная панихида».

Я был уверен, что Вольнов начнет писать «под Бунина». Он уже работал над «Повестью о днях моей жизни», просиживал над нею ночи, стал молчаливее, осунулся и ходил, глядя в землю, точно боясь споткнуться, рассыпаться. Часто спрашивал, как надобно писать о том или о другом, но советы слушал исподлобья и, чувствуялось, не верил им. Его спрашивали:

— Как идет работа?

Он отмалчивался, но как-то раз сказал:

— Трудновато. Приходится в одно время и пни корчевать и кружева плести.

Но уже ясно было, что советам он не верит из боязни заговорить чужими словами.

Когда он принес первые главы повести, меня очень неприятно удивила его напряженная, крикливая манера читать; он кричал как будто из окна в толпу или стоя на телеге. Но оказалось, что так крикливо, коротенькими, резкими фразами повесть была написана, фразы эти сливались в сплошной вопль и рычание, чтение имело характер спутанной речи, которая одновременно обвиняла и защищала. Диалоги он торопливо и невнятно бормотал, а описания — выкрикивал, даже как будто выпевал. Лицо у него налилось кровью. Кто-то из слушателей посоветовал:

— Не читайте бегом!

Эти слова очень верно определяли общее впечатление, — действительно казалось, что чтец не сидит, а именно бежит, перепрыгивая через какие-то ямы и кочки, торопясь достигнуть цели.

Видно было, что и писал он «бегом», спеша рассказать как можно больше тяжелого и страшного. Одна за другою, но бессвязно, необъясненно следовали сцены драк, избиения баб, детей, лошадей, мужик перегрызал горло живому петуху, ревнивая баба вывертывала сосок груди пьяной бобылки. Повесть каждой страницей кричала:

«Вот как страшно! Вот как! А еще — вот как! И — вот как!»

Кончив читать, Иван смял рукопись, сунул ее в карман и, отирая пот с лица, сказал:

— Ну, знаю, что плохо! Сам слышал, — ни к черту не годится!

Борис Тимофеев подтвердил эту самокритику:

— Да, это ты — набухал сгоряча! Всю свою губернию дегтем и кровью вымазал.

— Не стоит говорить, — согласился Иван, приглаживая волосы, рука его дрожала.

Ночью, на берегу моря, сидя в камнях, посеребренных луною, в необыкновенной, тоже как бы окаменевшей тишине, которая возможна только над равниной спокойной, тяжелой воды, Иван рассказывал:

— Я — не писал, а — спорил. Сам понимаю, что этого не надо было делать. Но хотелось показать, что я знаю страшного и подлого больше, чем знают Бунин, Чехов и всякие Родионовы¹. Вот в чем ошибка. Желаете правды? Вот вам — правда! У меня ее больше, чем у вас, и моя — тяжелее! Вы ее издали видите, а я родился в ней, жил, буду жить!

Он очень долго и горячо говорил о том, что Тургенев, Григорович, Толстой изображали крепостных мужиков мягко, осторожно.

— Когда я читал их, так — оглядывался: разве это наши крестьяне — орловские, тульские, калужские? Места — наши, а мужик — не наш! У нас таких тихоньких — нет, я таких — не знаю, не видел. Я знаю страшного мужика, он живет в грязи, в тоске, он — дикий и несчастный. Значит — что же? При крепостном праве — мужик лучше, благообразнее был?

Покуривая тоненькие итальянские папироски одну за другою, бросая окурки на застывшую воду, он говорил о «Подлиповцах» Решетникова:

— Они — где-то у черта на куличках, от моей совети — далеко! А вот от моей деревни до Москвы триста верст. В Москве — университет, консерватория, Третьяковская галерея, Художественный театр и черт ее знает что еще! А у меня в деревне — домовые, ведьмы, коновал лошадей портит, рожениц сквозь хомут пропихивают... понимаете?

После этой ночи он стал несколько доверчивее, откровенней, снова принялся работать над повестью и начал

¹ Родионов — земский начальник в Боровичах Новгородской губернии, автор нашумевшей книги «Наше преступление». В этой книге он изобразил крестьян и рабочих-керамистов очень мрачными красками.

больше читать. Прочитал «Мужиков» Бальзака, «Землю» Золя, романы Ренэ Базена, Эстонье — французы успокоили его.

— Пишут деловитее наших, — сказал он.

Он легко находил общее между иностранной и русской литературой; прочитав «Последнего барона» Лемонье, он заметил:

— Это — тоже «Суходол».

Почти никогда не говорил о политике, о партийных программах, революционная литература не интересовала его.

— После прочитаю, — говорил он и все более углублялся в работу писателя.

Эсеровская закуска его напоминала о себе не часто, но очень определенно. Как-то завязался разговор на тему о необходимости «выварить мужика в фабричном котле», он нахмурился и проворчал:

— Котлов-то нет. Да и строить их никому неохота, кроме иноземцев, а они — гости, которые легко становятся хозяевами...

В другой раз захмелевшая компания, вспомнив об Азефе, начала подтрунивать над партией, боевую славу которой создал провокатор. Вольнов, послушав насмешки минуту-две, сердито заявил:

— Глупо говорите! Азеф — мерзавец, но он предавал людей, а вот люди, которые предали и предают революцию, то есть, значит, весь народ, они — гораздо хуже Азефа!

И сквозь зубы произнес странные слова:

— Бывало, что и отцы детей жандармам выдавали. Думаете — не бывало этого? Было...

Как-то незаметно для всех он женился на одной из эмигранток, от нее у него — сын, Илья; теперь это очень серьезный юноша, отличных способностей. Жил Иван на берегу моря в обломке старинной, сторожевой башни, стена ее опускалась прямо в море, и во время прибоя волны бухали по стене с такой силой, что все дрожало в маленькой квадратной комнате с каменным полом.

В Россию Вольнов вернулся в 1917 году, весной. Его возвращение домой, в деревню, хорошо изображено им в повести, которую он писал в 1928 году, живя в Сорренто.